

О СКАЗКАХ И СКАЗОЧНИКАХ

Сказки бывают разные, но в науке литературоведения до сих пор не создано единой классификации. Разные исследователи предлагают свои варианты, весьма серьезно обоснованные, но не выдерживающие проверки живым материалом сказок. Наиболее часто встречается деление сказок на волшебные (тут вроде бы нет разногласий), нравоучительные, биологические (сказки о животных) и новеллистические.

Не будем углубляться в научные споры, занимающие куда более оснащенные познаниями умы, к тому же в данном сборнике представлены в основном волшебные сказки. Но и это понятие, принятое всеми безоговорочно, тоже зыбко и весьма приблизительно.

Разве волшебные превращения исключают мораль и разве нельзя любой сказке придать новеллистичность? Волшебное почти всегда присутствует в сказках о животных, достаточно того, что они разговаривают на человеческом языке, что довольно редко случается в действительной жизни, но кажется совершенно естественным в сказке.

Еще сказки делятся — и это бесспорно — на народные, созданные коллективной фантазией наших предков, и на литературные, авторские, являющиеся плодом писательского творчества. Посредине находятся народные сказки, подвергшиеся литературной обработке, таковы сказки братьев Гримм или Афанасьева. Надо сказать, что крайне редко сказка является плодом чистого вымысла писателя. Знаменитые сказочники: Перро, Гауф, Андерсен, Лагерлёф — черпали из фольклорной сокровищницы, заимствуя оттуда сюжеты, многие образы и мотивы. Сильные творческие индивидуальности, они зачастую бесконечно далеко уходили от народной первоосновы, и все же можно без особого труда обнаружить в их искрометных творениях отзвуки тех

наивных и мудрых небывальщин, которые в далекие дни детства люди моего поколения слышали от своих бабушек и неграмотных нянек. Легко догадаться, что это написано человеком, разменивающим седьмой десяток, в нынешнее просвещенное время нет неграмотных деревенских нянек с напевным голосом, а бодрым и деловитым бабушкам не до сказок.

Когда сейчас взрослые люди рассказывают сказки маленьким детям, они чаще всего ломаются, играют в дурачков, ибо не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в Кошю Бессмертного, и в Бабу-Ягу, и в Лешего, и в говорящую мертвую лошадиную голову. Я понимал, что она верит, замирал от ужаса, и в ужасе этом была поэзия сопричастности инобытию, вечной тайне. Сейчас дети редко-редко услышат из уст взрослого настоящую сказку. В лучшем случае их попотчуют неким суррогатом из обрывков далеких, забытых снов и современных «мультяшек». Настоящую сказку можно получить только в книге.

Почему дети так тянутся к сказке? Принято считать, что сказки просты, доходчивы, понятны. Но, клянусь, мне куда легче разобраться в громоздах современной прозы, чем понять навороты «Финиста — ясного сокола» или мудреные сказы о подвигах Бабы-Яги — костяной ноги. У меня от одной этой костяной ноги ум за разум заходит. Почему «костяная» нога? Нигде в сказках это не объяснено. Почему «избушка на курьих ножках»? Почему Иван, желая войти в эту лесную избушку, просит: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом» — не проще ли обойти? Когда же я наконец решил разобраться в простейших началах сказки, то попал в такие непролазные джунгли, что с трудом выпутался, уразумев лишь самую малость.

Оказывается, в основе волшебных сказок лежат народные верования и обряды древнейшей, доклассовой поры человеческого общества — родового строя. Подавляющее большинство сказок связано с обрядом инициации — посвящения в мужчины. Смысл этого обряда состоит в том, что молодых людей, достигших возраста, когда можно охотиться, рыбачить (земледелия в ту пору не существовало), а также вступить в брак, отводили в глухой лес или заросли, в укромную хижину и подвергали всякого рода суровым, даже жестоким испытаниям, чтобы проверить их мужество, смелость, стойкость, выносливость. Мучения были столь велики, что посвящаемые впадали в бессознательное состояние. Иные умирали, и племя таким образом избавлялось от больных, слабых, неполноценных. Те же, что с честью выдерживали испытания, пройдя через эту временную смерть, воскресали в новом образе: мужчины, охотника, полноправного члена племени. Их знакомили с мифами и всеми тайнами племени,

скрытыми от непосвященных, они могли ходить на охоту, участвовать в мужских плясках и пении. Считалось, что теперь им ведом язык зверей и птиц.

Этот мотив особенно часто встречается в сказках и отражает уверенность наших далеких предков, что великим охотником может быть лишь тот, кто познает душу зверя. Тогда твоя охота — основа жизни — станет добычливой, счастливой. Древний охотник не мог полагаться на свое примитивное охотничье вооружение, ему надо было найти помощников среди самих зверей. У каждого племени был свой почитаемый зверь — тотем. То была религия первобытных людей: каждое племя считало себя в родстве с тем или иным животным, которое было не то что божеством, а родичем, другом, помощником. Чтобы породниться со зверем, надо «пройти сквозь него», побывать в его шкуре, поэтому лесная хижина, куда отправляли молодых людей, имела вид какого-нибудь зверя. А потом, когда изменились условия жизни, или, говоря по-научному, производственные отношения, и общество из охотничьего стало земледельческим, обряд посвящения в своем прежнем виде потерял смысл, ибо теперь не лес кормил человека, а земля, и дикий зверь уступил место домашнему скоту, пропал и смысл хижины-зверя, но сказка безотчетно помнила об этом и сохранила «избушку на курьих ножках».

Считалось, что лесной домик, в котором происходила инициация, обращен входом не просто к чаще, а как бы к загробному миру, куда в должное время предстоит «окунуться» посвящаемому. И чтобы до срока не оступиться в инобытие, домик надо повернуть, вот откуда взялось в сказках обычное заклинание: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом».

Обряд долговечнее породившей его действительности, а сказка куда долговечней обряда. Мнимые бессмыслицы и нелепицы сказок коренятся в сложном и торжественном обряде посвящения в мужи-охотники, давно утратившемся в живой народной памяти.

С переходом к земледельческому обществу некогда осмысленное и важное действо стало ненужным, даже вредным. И вот почтенная хранительница лесного дома превратилась в злую Бабу-Ягу, змея из помощницы человека стала кровожадным змием (в русской сказке Змеем Горынычем), которому герой срубает все его семь огнедышащих голов. Сказка как бы осуждала и высмеивала обряд, пришедший в противоречие с изменившимися условиями жизни.

Я ограничиваюсь немногими примерами, чтобы показать, как сложен по своему происхождению образный мир сказки и как не случайны в нем любые, пусть нелепые с виду подробности,

придуманные вроде бы лишь для пушного страха. Нет, во всех своих деталях сказка повязана с действительной жизнью людей древнейшего общества, с их верованиями и мифами. Малый объем предисловия не позволяет сколько-нибудь подробно исследовать происхождение и становление сказки, а также развитие ее на разных этапах исторической жизни, об этом написаны толстые тома, и все же по многим важнейшим вопросам ученые не пришли к единому и окончательному мнению. Я пытался лишь дать понять, какие глубины скрываются за странными, диковатыми, страшными, а порой смешными, дурашливыми образами, кочующими из сказки в сказку.

То, что сказка возникла преимущественно из одного источника: верований первобытного общества, основой жизни которого была охота, — объясняет и такое поразительное явление, как сходство сказок народов, населяющих землю, в том числе народов, никогда не соприкасавшихся. Аборигены Австралии, папуасы Океании рассказывают те же сказки, что и американские индейцы, насельники далекого Севера и Сибири, Средней и Центральной Азии, африканских тропиков, европейских деревень и городов. Тотемизм, прарелигия всего человечества, — та общая почва, на которой выросли сказки. Передаваемые от дедов к внукам, они докатились до наших дней, порой весьма близкие к своему изначальному образу, порой изменившиеся до неузнаваемости.

Почему все мы в детстве так любим сказки? Воображению необходимо что-то не совсем от жизни, что-то таинственное, чудесное, страшное, но непременно со счастливым концом. Чувство справедливости является, видимо, врожденным, и невыносимо, чтобы доброта не вознаграждалась и торжествовало зло. Жизнь постепенно приучает нас к этому. Все сказочники неукоснительно следуют традиции счастливой развязки, кроме одного Андерсена: Русалочка гибнет, так и не добившись любви принца, но ведь датский кудесник создавал свои сказки и для детей, и для взрослых.

Я не очень отчетливо помню, что было со мной год, месяц и даже две недели назад, но поразительно отчетливо моя память хранит все воспоминания самого раннего детства и даже представления о том, что я ощущал до пробуждения памяти. И от лица того, каким я был более полувека тому назад, могу утверждать: да, я любил таинственное, ибо сам еще был причастен жгучей тайне, я только что расстался с предбытием, пришел в этот солнечный мир из тьмы вечности. Я был исполнен величайшего чуда, которым является рождение человека — мыслящей материи, пусть я еще не мыслил, лишь продирался к мышлению сквозь туман символов, видений и обставших со всех сторон загадок, и это не мое личное, а принадлежащее началу каждой человеческой жизни. Тут мы все похожи на наших исторических

предков, что впервые обнаружили в себе человека, хотя еще не называли себя так.

До чего же беспомощен и жалок был первый человек: безволосый, голый, нетвердо державшийся на двух задних лапах. Своим единственным преимуществом — освободившимися передними конечностями он поначалу не очень-то умел распорядиться, а вот бегать, ходить, лазать, даже просто стоять на двух подпорках вместо прежних четырех сильных лап было куда как трудно. Далекий наш предок не мог состязаться в скорости ни с одним четвероногим, за исключением разве черепахи. К тому же тонкая лысая шкура плохо защищала от стихий и врагов, и весь его аппарат добычи и обороны был ничтожен: ни рогов, ни копыт, ни бивней, даже сильными клыками и острыми когтями не располагал будущий властелин земли. Другие слабые создания не понимали своей жалкости и покорно существовали в данном им природой образе, но человеку, взамен многих потерь, был отпущен странный дар сознать себя, знать цену своей сути. Человек постиг свою незащищенность и смертельно испугался окружающего мира. Испугался зверей, птиц и рыб, испугался деревьев, гор и рек, испугался неба и земли, испугался явлений природы и от испуга обожествил всех и вся, то есть поставил над собой.

Это была первая вера — религия человека, отсюда возникли мифы — предтечи сказок.

Чтобы уцелеть, надо обрести власть над враждебными силами, и прежде всего над зверьем, ибо в нем главный источник жизни. Слабый человек не был травоядным, рано открыл в себе хищника. Едва освободив руки, он поднял камень и швырнул им в пролетавшую мимо птицу. Затем схватился за палку; много позже придумал копье, топор, бумеранг, томагавк, нож; еще позже — лук и стрелы. Но все равно человек оставался очень слаб и с трудом добывал себе пропитание. Зато он уже умел мечтать и в мечтах видел себя счастливым добытчиком. Для этого мало ловкости и силы, надо войти в доверие к своим недавним собратьям, вновь породниться с ними, отыскать среди них могучих покровителей, верных помощников. Тот, кому это удавалось, кто входил в доверие к Главной выдре, Главному леопарду или к Главному бизону, становился Великим охотником и вождем.

Я тоже тянулся к зверям, какое счастье иметь собаку, кошку, ежа, черепаху, певчую птичку или золотых рыбок! Я обожал книжки, устные рассказы и фильмы про зверей. И несомненно, понимал язык зверей, а звери понимали меня. Можно подумать, что я помнил о времени, когда человек с помощью зверей становился тем, что он есть. И мне хотелось, чтобы со мной говорили на том древнейшем языке, каким является сказка.

Эта причудливая темная речь была мне куда понятнее и ближе, нежели трезвый язык дневной обыденности. Я брал конфету истины лишь в обертке таинственного, загадочного, волшебного. Станный, волнующий язык сказки ближе тому миру (коли позволено назвать миром — небытие), из которого в то далекое время я только что появился. Помните, у Лермонтова: душе, принесенной ангелом в наш печальный мир, «скучные песни земли» не могут заменить утраченных звуков небес.

Я, как и все мои тогдашние сверстники, задавал порой совершенно дикие, с точки зрения взрослого человека, вопросы, например, о стуле: «А он — что?», или о бабочке: «Кто она?» Но мы никогда не спрашивали подобного о Бабе-Яге или Кошее Бессмертном. Мы их сразу узнавали, они — из того черного провала, откуда мы сами недавно пришли; похоже даже, что мы там с ними встречались. Во всяком случае, фантастическая нежить была нам понятнее, нежели Иван-царевич, Иванушка-дурачок или царевна Несмеяна. Мне думается, в глубине своей новосел мира постигает то, что, уходя из рук Бабы-Яги или Кошеля, герой сказки обманывает смерть. И мы учимся в сказках любить жизнь, ненавидеть смерть, учимся, конечно, не в школьном понимании, но к этому я еще вернусь в конце. Сказка укрепляет в нас чувство жизни, радость жизни, веру в жизнь.

Спокон века сказочник рисуется в двух образах: славного белобородого дедушки с хитроватым прищуром в бирюзовых глазах и доброй, уютной бабушки с очками на носу и вязаньем в руках (бессмертная красавица Шахразада, чарующая бесчисленные поколения читателей дивной вязью своих небывальщин, все-таки не стала воплощением образа сказительницы).

Традиционное, освященное веками представление о тех, кто рассказывает сказки, переносится и на писателей-сказочников. Доброта и благодать, необыкновенная любовь к детям, тихая мудрость и некоторая отрешенность от земных дел кажутся их неизменными чертами. Таким нарисовал Ганса Христиана Андерсена другой необыкновенно добрый человек — Константин Паустовский. Может быть, в отношении Андерсена это и справедливо, хотя после недавней поездки в Данию автор «Русалочки» и «Калош счастья» предстал передо мной, в восприятии своих соотечественников, в ином свете — менее благостным, развинченно-романтическим и анемичным, а более живым, острым и заземленным.

И подавно не похож на доброго сказочника нервный, издерганный, саркастический, исполненный мистического ужаса перед непостижимостью мироздания и отвращения к обывательской пошлости Эрнст Теодор Амадей Гофман, умевший до экстаза восторгаться прекрасным, сочувствовать гонимым и непонятым и яростно ненавидеть самодовольных хозяев жизни, веривший

в волшебство и магию и с редкой проницательностью видевший всю подноготную земных дел. Он и сам мучительно ощущал свою раздвоенность, в нем жили две души, два разных человека, поэтому тема двойника проходит сквозь все творчество Гофмана. Большую часть взрослой жизни, за малыми просветами, когда существование его обретало цельность, Гофман жил в двух образах: исполнительного судейского чиновника, достигшего довольно высоких постов (он до скрежета зубовного ненавидел суд и судопроизводство), и необузданного романтика, чьи поэтические видения воплощались в литературе и музыке, а сарказм — в графике. Он поклонялся Моцарту, к имени, данному ему при крещении, он прибавил нежное имя своего кумира и стал Эрнст Теодор Амадей. Вдохновляемый творцом «Волшебной флейты», он и сам писал светлую, гармоничную музыку, озаренную причудливо-нежной фантазией. Но в графике он — сам дьявол, его карикатуры на окружающих мещан без промаха разили цель, не щадя никого, от убийственной насмешки не защищали ни важный чин, ни большая звезда на груди. Порой ему приходилось горько расплачиваться за эти злые шаржи. В рисунках Гофмана не было ничего от той мечтательной души, что напела оперу о речной деве Ундине.

В своих романах, новеллах, сказках Гофман сочетал оба начала: волшебное соседствовало с шаржем, нежные видения исчезали в раскатах сатанинского хохота. Нет, Гофмана никак не назовешь добряком. Его перо с изящной легкостью набрасывало эльфические образы детей и тут же, почти слышимо закрипев, вычерчивало портрет филистера, судейского крючка, чиновника со сморщенной душой, блюдолиза-придворного и ~~и самого~~ властелина — надутого болвана. И вновь без малейших усилий он уносится в мир причудливой фантазии, таинственных и страшных видений.

Он работал по ночам и нередко, напуганный собственными вымыслами, будил жену и просил ~~посидеть рядом~~ пока он пишет.

Как естественно и просто под пером Гофмана волшебство вливалось в быт. Почтенная канонисса фон Розеншен, блюстительница приюта для благородных девиц, оказывается феей цветов Розабельверде из Джинистана в сказке «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». А как идиллически начинается прелестная сказка «Щелкунчик и Мышиный Король», помещенная в этом томе: рождество в нарядном, богатом доме, елка, подарки, возбужденные счастливые дети, довольные своей щедростью родители, чудесные елочные игрушки, сладкие марципаны. И до чего же просто рождественский праздник в почтенном немецком семействе оборачивается невероятной чертовщиной. Гофман верил, что все люди, вещи и явления имеют два лица: одно днев-

ное, обращенное к повседневности, другое ночное, страшное, скрывающее мрачную тайну; сдерни покров с обывательского благообразия — и обнаружатся сатанинские страсти, фантазмагория, бред. Гофман боялся этого таинственного мира и вместе с тем презирал людей, не способных услышать потусторонние голоса, поверить в чудо, волшебство. В семье советника медицины Штальбаума он выделил маленькую Мари, потому что в ней нет ни туповатого практицизма ее брата Фрица, ни здравомыслия глубоко буржуазных родителей; поэзия коснулась маленького существа своим крылом, и потому из всей семьи лишь она допущена в страшную и пленительную сказку, которая разыгрывается под мирными сводами бюргерского дома. Ей дано проглянуть скрытую суть окружающих, узнать, что старший советник суда, часовщик-любитель, изобретатель игрушек, крестный Дроссельмейер, — могущественный волшебник и маг, а деревянный Щелкунчик — его заколдованный племянник, что игрушки живут по ночам весьма бурной жизнью, а под полом обитает семиголовый Мышиный Король. Гофман так поверил маленькой Мари, что в конце сказки подарил ей волшебное царство, где «всюду увидишь сверкающие цукатные роши, прозрачные марципановые замки, — словом, всякие чудеса и диковинки». Но он далеко не всегда так щедр к своим героям. И нередко, проведя их сквозь чудесные приключения, награждает всего-навсего житейским благополучием, вполне устраивающим даже тех, кто позволил на миг увлечь себя волшебному порыву. Гофман не заблуждался насчет душевных богатств своих здравомыслящих соотечественников. Отсюда ироничность многих его концовок.

«Щелкунчик» несомненно самая добрая сказка Гофмана. Но почему писатель, особенно же писатель с судьбой Гофмана, должен быть добрым? Гофман жил в бурное и трудное время, хотя иные бури века умудрился пропустить мимо себя. Так, юношей он «не заметил» Французской революции да и о Наполеоне узнал толком лишь потому, что нашествие французских войск сорвало его контракт с Лейпцигским оперным театром. Он жил «внутри себя», а не во внешнем мире. Куда сильнее общественных бурь, терзавших Европу, были для него личные потрясения: в раннем детстве смерть отца, оставившего его на руках у беспомощной, болезненной и равнодушной матери, затем смерть матери и докучное опекуновство дяди, невыносимого педанта, с приходом юности — мучительная, безнадежная любовь к замужней женщине Коре Гат и другая влюбленность в нежное поэтическое существо, «проданное» родителями богатому вульгарному купцу. На любовные неудачи ложилось вечное безденежье, невозможность проявить себя ни в одной из трех ипостасей своего гения — писатель, художник, композитор, —

в который верил лишь он один. Наконец, когда жизнь немного наладилась — он женился по любви, получил хорошее место в Познани, — шарж на всесильного генерала разом сломал это хрупкое благополучие, карикатуриста сослали в богом забытый Плоцк.

И не раз в дальнейшем язвительный карандаш и острое, насмешливое перо будут причинять Гофману немало бед. Самые же губительные поступки он совершил на исходе жизни, смело восстав против насилий, чинимых властями над совестью судей, а в сказке «Магистр блох» высмеяв председателя комиссии по расследованию политических преступлений. В этом крайнем индивидуалисте, аполитичном, чуждом общественным страстям своего времени, обнаружилось неожиданное социальное чувство. Ему грозила страшная расправа, но неизлечимая болезнь опередила человеческую кару. По злой иронии судьбы к этому времени Гофман, издевавший жестокою нужду, холод всеобщего непризнания, потерю единственной дочери, стал знаменит и почти богат. Но он уже ничего не хотел, кроме клочка зеленого поля, кусочка синего неба и глотка свежего воздуха. И в этом ему было отказано. Парализованный, прикованный к кровати, он скончался сорока семи лет от роду.

Гофману не за что было любить людей, но он умел любить Человека. Никто не мог сравниться с ним в дружбе. Для современников этот странный, изломанный человек так и остался загадкой.

Читали его много, но вряд ли понимали глубоко. Не больше повезло Гофману после смерти: вершители литературных судеб сочли его причудливую прозу просто развлекательным чтивом. И много воды утекло, пока этот «неутомимый искатель высшей правды в искусстве» был оценен по заслугам...

Мало соответствуют благостному образу добрых сказочников знаменитые братья Гримм.

Наверное, я буду не оригинален, если признаюсь, что в детстве предпочитал толстый растрепанный том гриммовских сказок пленительным грезам великого Андерсена. Очевидно, чудесное нужно нам в детстве в чистом виде, без поэтических прикрас. Конечно, нельзя сказать, что записанные братьями Гримм народные немецкие сказки вовсе лишены поэзии. Но это как ушедший под землю ручей, он есть, он обнаруживает себя россыпью незабудок, осоковой растительностью, дыханием почвы, простирающейся под ногами, и вместе с тем он остается невидим. А ручей Ганса Христиана бурлит, шумит, играет, преломляет свет над собой и отвлекает тебя от леса, тающего столько опасных чудес. Андерсен *творил*, используя фольклорные мотивы, братья Гримм лишь собирали и записывали народные сказки.

Это не механическая работа: приходилось слышать разные

записи, извлекать первоначальное звучание из-под напластований позднейших времен, чтобы народная фантазия явилась в чистом виде, не искаженным стилизацией; то был труд ученых, исследователей, конечно, с божьей искрой в душе, иначе бы все засохло, но все же не литературное творчество.

Да они и были крупными учеными-филологами, профессорами и академиками Прусской академии. Знаменитые люди, которым даровано прижизненное долголетие, переходят в память потомков лишь в старческом образе. Лев Толстой для нас седобородый старец, а не тот стройный офицер с темными усами и гладкими щеками, каким увидели обе столицы автора «Севастопольских рассказов», а ведь этот молодой Толстой столь же реален, как и яснополянский патриарх. На сохранившихся изображениях братья Grimm важны и суровы, Якоб — до угрюмости, и трудно поверить, что ими записаны такие прелестные шутки, как «Бременские музыканты» или «Семеро храбрецов», — сколько тут очаровательной глупости и никаких назиданий! А что, если Гриммы, братья-погодки, трогательно любившие друг друга и прожившие совпадающую во всем жизнь, кроме одного: Вильгельм ушел из жизни на четыре года раньше брата — вовсе не были скучными и надутыми учеными мужами, а разбитными ребятами, знавшими толк в крепкой шутке, острым словце и веселом розыгрыше?

Это предположение, но несомненно, что в тяжеловатых немецких ученых, облаченных в темные сюртуки, было немало от мечтательного юноши, верившего в Ундину и грезившего о неземной любви с прохладной девой вод, а еще больше от того задорного мальчишки, который отдал бы все на свете, чтобы пошататься по дорогам с веселыми бременскими музыкантами.

Они увидели свет в захолустном местечке Ханау, в семье чиновника, обучались юриспруденции в Марбурге. Но души юных правоведов рано пленились народной немецкой поэзией, и они принялись собирать средневековые тексты: песни, легенды о короле хитрецов Рейнеке-Лисе, бедном Генрихе и т. п. То не было простым коллекционированием, Гриммы исследовали творчество миннезингеров (рыцарей-певцов), майстерзингеров (ремесленников-певцов), народную и куртуазную поэзию.

Будучи профессорами Геттингенского университета, они собрали и выпустили знаменитые «Детские и семейные сказки», ставшие всемирным чтением и прославившие их куда больше, нежели все многочисленные труды. А ведь Гриммы основоположники «мифологической школы» в филологии. Крупнейшие европейские исследователи, в том числе наш Буслаев и знаменитый сказочник Афанасьев, примыкали к этой школе. Но бессмертные братья Grimm подарили все-таки не их коллеги, соратники,